

Андрей Сергеев

OMNIBUS

Альбом для марок

Портреты

О Бродском

Рассказики

Москва

Новое литературное обозрение

О БРОДСКОМ

Бродский пришел ко мне на Малую Филевскую в начале 1964. Открываю дверь, вижу стоит ражий рыжий парень. Широкоплечий, здоровенный, внушающий доверие. Сует крепкую сухую ладонь — пожать одно удовольствие.

До этого о Бродском я слышал сколько угодно. Фатально и довольно долго избегали меня его стихи. Сам я никаких усилий не делал, потому что хорошее — придет само. В Паланге в 1963 Найман похвалился, что у него с собой Бродский. Я тут же получил пухлую пачку листов и пошел на дюну читать.

«Холмы»,

«Черный конь»,

«Ты проскачешь во мраке...»,

«Я обнял эти плечи...»,

«Рождественский романс» и так далее.

Два часа читал под елкой — устал. Но все стало совершенно ясно: вот новый, ни на кого не похожий, крупный, замечательный и очень близкий мне поэт. И естественно я спросил:

— Толя, а какой он, Бродский?

— Такой чахлый еврейский росток.

Ничего себе чахлый росток! Мы прошли в комнату. Я усадил его на свою любимую качалку, слово за слово пошел разговор. Иосиф был по делу — Ахматова дала ему мой телефон: Иосифу хотелось попереводить что-нибудь *чистое*. *Чистыми* тогда считали переводы с западного языка и не прогрессивного автора. Говорили мы о деле и, конечно, не о деле часа два.

Пришел он ко мне утром в тот день, когда собирался в Ленинград. Было как-то известно, что его должны посадить. И Анна Андреевна, стараясь его охранить и хорошо зная нравы, советовала ему задержаться в Моск-

ве, потому что дело местное, ленинградское, пройдет кампания — забудется. Но зов, который сильнее всякого разума, требовал его пребывания в Питере. Через день или два там его и забрали. А потом был суд — он описан у Фриды Вигдоровой, потом — Норенское.

Анна Андреевна дала мне адрес. Не хотелось писать ему абы как, да и цензору лишнего сообщать не хотелось. С месяц я муслил свои листочки. Обычно я письма пишу одним махом, а тут у меня даже черновик сохранился:

Москва. 16 апр. 1964.

«...Вся штука в том, чтобы ничего не потерять из того ценного, что уже имеешь. А для этого, Ося, прошу вас, будьте терпеливы и мужественны. Быть мужественным это не совершать ни детских, ни стариковских, ни женских поступков. Я продолжаю наш с вами разговор. Все, что я сказал насчет переводов, остается в силе. У вас в нашем деле отличные перспективы — не то, что у австралийской антологии, которая уже который год тянется не дотянется — но конечно выйdet и, надеюсь, при вашем участии. Книжку-то вы мне, наверно, зря передали. Все в силе. Черкните мне — коли захотите, я вам пришлю австралийских стихков получше. А пока — дело высокое — шлю вам Браунинга. Не теряйте времени на метания — почитайте, приглядитесь — чудный ведь поэт. Потом вместе сделаем — тьфу-тьфу, чтобы не сглазить!»

Почта минимум неделя туда и неделя сюда, еще не знаем, сколько наши письма валялись в соответствующих инстанциях. Через месяц пришел ответ.

От руки. 16 мая 1964.

«...Живется мне не весело, но я не очень обескуражен (физически меньше, чем психически). До последнего времени не было возможности работать, а в ближайшие дни она, нав[ерно], совсем исчезнет, в связи с «так называемой посевной» — и попросту с жарой и комарами. Такие уж тут места...

(Мне кажется, райская была бы жизнь, если бы мы вместе взялись за что-ниб[удь]; хоть за Браунинга!)

Стали оттуда доходить и стихи. Анна Андреевна показала мне «Инструкцию заключенному». Как-то я прово-

жал Марину; у самого метро она достала машинопись «Двух часов в резервуаре». Читать у метро на улице — это не метод. Чтобы быть на высоте, я сказал, что здесь влияние Одена. Хотя стихотворение понравилось, его метафизический message я оценил позже.

Письма наши — продолжение того первого разговора, когда мы за два часа обсудили все, что только возможно. Он писал гораздо более раскрепощенный и своей натурой, и фактом уже состоявшейся ссылки.

Машинопись. 14 мая 1965.

«Я не мастер писать короткие стихи. Вернее, даже если они и удаются, они дают повод для таких вот, не имеющих со «мною» ничего общего толков. Динамика, статика, моторное и духовное движение — все это ерлаш. Поэтому и обидно посылать Вам отдельные стихи. Потому и тяжело мне тут жить, что самое главное писать не удастся. Не меньше 200 строк — и тогда вы почувствуете, с кем имеете дело. «Холмы», «Большая элегия», — все это только экзерсисы. Реален только «Исаак и Авраам». Да и еще одно большое стих[отворение], но оно в другом роде и запрещено. Ну, что-то я сильно раскрутился. Словом, все, что Вы говорили насчет тех стихов, что послал Вам — правда; да только они — не я. Если года через полтора меня выпустят (по половинке), надеюсь, покажу Вам мое «пусть прекрасное» место в поэзии».

Переписке уже год с хвостом. Письма его замечательные — мужественные сетования и очень много конкретности. И вдруг письмо совершенно смятенное.

Машинопись. 13 августа 1965.

«...Как хороший туземец, я все сижу и жду советника юстиции Джеймса Кука [когда-то он просил прислать ему в Норенское мой перевод «Пяти образов капитана Кука» Кеннета Слессора. — А. С.] с подозрительной (надзорной) трубой из обвинительного акта. Но так как мне не на что обменять «свою свинью» (Ницше), то, боюсь, я скоро стану плохим туземцем. И если в один прекрасный день я сам, шэйкспира и шэйкспауэря, не отправлюсь открывать один меловой остров за другим, то, м.б., я сколочу пирогу и спущусь в ней по Мариинской системе

в Язу. И меня линчуют, Андрей, под Вашим окном, на Филевских холмах, на глазах у Вас, Вашей жены, Вашего соседа-метафизика, или кто он там [Саша Пятигорский. — А. С.]. В год от Рождества Христова 1965. А?

Детские, старческие, женские — говорите Вы — поступки. Можно было бы пошутить насчет пола и возраста одновременно. Но, знаете, скучно. «И не такие, как я...» — уес, барин — не такие. Теперь, знаете, после смерти Ф[риды] В[игдоровой], мне что-то больше не хочется благоразумия, не хочется этого русского долготерпения — тем более, что мне-то самому этого и не нужно. Тем более, что я — еврей.

Андрей, сегодня я праздную труса. Стихи у меня не пишутся, и я обнаружил, что не хочу их писать. И что, когда я их не пишу, я — ничто. И что, значит, безразличие ко мне так естественно. Примем же слабые решения — мы, которые сами учили других мужеству. Одно уже принято: письмо Вам. Скажу по секрету: я похож на Броунинга. Я хотел дотянуть до его возраста, но теперь — плевать. Знаете, как узнаешь, что ты уже стар? Это когда твой конвоир моложе. В Вологде мне тыкали автоматами в рожу двадцатилетние мальчишки. Мировая, скажу Вам, тема. А теперь — прощайте. Я не очень хорош сегодня и завтра, боюсь, буду еще хуже. Чертовски хочется поболтать с вами, сидя в качалке. У меня ничего не осталось, даже формальных привязанностей. О Вас думать приятно. Знаете, долго занимаясь собой, устраивая все в себе, понемногу дичаешь. Верней, становишься инородным телом, и на тебя начинают действовать все эти мировые законы: сжатие, вытеснение etc. Старая мысль, но такая горькая. Нечего Вам послать; но поэт я (был?) хороший...»

Получил Иосиф мой ответ или нет, не знаю. Но через несколько дней он вдруг сваливается мне на голову. Анна Андреевна и не только Анна Андреевна ждали его в Ленинграде, но он в Ленинград на сей раз не стремился.

Дни наши протекали таким образом. Часов в десять пьем чай, потом обсуждаем весь мир и окрестности. После обеда разговор продолжается. После ужина минут пятнадцать-полчаса Би-Би-Си и опять разговоры — до 12. Я с вот такой головой ложился. Но самое замечательное, что

Иосиф мог говорить сколько угодно, никогда не повторялся и никогда не скатывался на какой-то недостаточно высокий для него уровень. (Был у Иосифа черный момент в биографии, когда он слал из ссылки рифмованный рыцарский роман — вот это было за пределами добра и зла.)

Встанешь утром:

— Андрей Яковлевич, вот послушайте... (меня он с приезда называл на Вы и Андрей Яковлевич — такой у него был для меня иероглиф). Или, убравшись из дому рано, оставлял на столе какой-нибудь коротенький стишок, который сочинил ночью — ночью и поколобродить мог, и под душем постоять, и бутылку допить.

Я ночь проведу без
вас, о друзья, но с
водкой, чей дух — бес —
щекочет мне нос.
Я — капитан, чей
фрегат, осудив дурь
моря, забрел в ручей,
пятясь от бурь.
Ах если бы Джеймс Кук
знал бы, как я борюсь
с водкой — тогда б юг
презрел — и открыл
Русь.

ПОХВАЛЬНОЕ СЛОВО ДИВАНУ СЕРГЕЕВЫХ

Диван Сергеевых, на,
прими благодарность за
ночь с девятого на
десятое, за
много других от
Бродского И.А.
В тебе все прекрасно от
пружин до подушки. А
я так люблю все
прекрасное. Просто до
безумия. Вот и все.
Ля, соль, фа, ми, ре, до.

[Или где-нибудь на полях:]

Наташа Ростова,
героиня Толстого,
перелив из пустого
в порожнее...

Царь, царица и царевич
раз пошли гулять,
а навстречу шел Гуревич,
подцепивший блядь...

Я плохо переношу присутствие постороннего человека в доме. Но с Иосифом было легко, очень легко. Никаких закидонов, никаких претензий. Ну, конечно, способствовало то, что я его просто обожал. Несколько недель прошли абсолютно мирно, любовно.

25 летний Иосиф пришел ко мне, имея законченное представление о русской поэзии. Как и обериутам, ему не мог не импонировать нетронутый пласт поэзии XVIII века — Ломоносов, Тредиаковский, Сумароков. Он любил идею оды, длинного стихотворения, ему нужны были их полнозвучие, громогласность, он сам так писал. Он делал лирическое высказывание на 200—300 строк, и это вызов поэтике XIX—начала XX века, когда культивировалось стихотворение строк на 20—30. И никогда у него не многословие.

Александр Сергеевич был, конечно, хороший и на языке постоянно. Но больше все-таки Иосиф любил Баратынского, так и говорил: «Баратынский — мой любимый поэт».

Со средней полки снимали Библиотеку поэта — безобразные синие х/б б/у. Из закрытой части стеллажа — старые нежные книжечки — кого угодно, весь серебряный век. Первоиздания какого-нибудь Кузмина: не первоизданий тогда не было. Иосиф безмерно восхищался Ахматовой, хотя говорил, что ее стихи ценит меньше, чем ее саму. Цветаеву восхвалял при всякой возможности, наверно, видел в ней мотор, работающий на соизмеримом числе оборотов те же 24 часа в сутки. Придавал несвойственные ей черты: необыкновенный ум, мудрость, видит на сто верст в глубину и на сто лет вперед. К моему любимому Пастернаку отношение у него было напряженное. Бездоказательно предположу: его настораживало, что теми же чрезвычайными средствами, какими Цветаева вызывала вихрь, Пастернак устанавливал райскую погоду. Для отбреха же Иосиф говорил, что терпеть не может пересказов евангельских сюжетов в стихах, имея в виду стихи из романа — ну, и блистательно опроверг это позже собственными стихами.

Проза ему, по-видимому, была нужна мало, о ней практически не говорили. Как Анна Андреевна, Толстого не любил. Федор Михалыч был вроде как старший товарищ, из своих.

Мы перебрали всю мировую поэзию и в основном сошлись. Впрочем, и расходясь не спорили, он просто излагал свое. Кроме русской, мы больше всего любили англо-американскую. В середине стеллажа толстыми, жирными массивными корешками стояли английские книги, несколько полок. В руки он их брал редко, стоял, рассматривал, говорил: «роллс-ройсы». На Фросте мы обнялись и расцеловались. Однажды он даже сказал:

— Когда я выходил в люди, я мечтал научиться писать, как Найман. А потом прочитал Фроста и понял, что мне так никогда не написать.

В Норенском он выдумал гениальную систему самообразования. Брал английское стихотворение, которое в антологии или сборнике ему почему-либо приглянулось. Со словарем по складам переводил первую строчку, точно так же расшифровывал последнюю. Мог ошибиться, очевидно. А потом подсчитывал число строк и заполнял середину по своему разумению. Лучшей школы стиха не придумать. «Деревья в моем окне, в деревянном окне» — примерно такая переделка фростовского «Дерева у окна». В деревне он начал читать по-английски — как может человек, интересующийся поэзией, жить без английского?

Когда я ему послал в Норенское три австралийских стихотворения, он их разобрал, два из них, Флексмора Хадсона, перевел замечательно, они пошли в антологию. Несмотря на предостережение Ахматовой «Переводить это все равно, что есть собственный мозг», он все-таки не отказывался от идеи перевода. И при первой встрече и много раз потом мы говорили о том, что не худо бы вдвоем сделать книжку Браунинга, вроде бы и дело новое, и проходимо.

В первый час знакомства с рукописями Иосифа в Паланге я увидел в его стихах Эдвина Арлингтона Робинсона. Впоследствии он сказал, что, разбирая поэму Робинсона «Айзек и Арчибальд», он преобразовал внутри себя героев в Исаака и Авраама. И в поэме, и в Библии старик и мальчик путешествуют долго, но так как Иосиф читал мучительно, со словарем, путешествие показалось

ему бесконечным, на многие тысячи строк. Его «Исаак и Авраам» — действительно тысячи строк, а 500 строк моего перевода, как в оригинале, ему показались до обидного куцыми. Робинсона он знал еще по великой антологии Зенкевича и Кашкина «Поэты Америки — XX век».

Одена Иосиф по-настоящему полюбил уже после того, как с ним встретился.

Американская проза его не увлекала. Не могу себе представить его отпадающим от Хемингуэя, модной фигуры, необходимой в бытовании шестидесятников. Иосиф, не будучи шестидесятником, Хемингуэя видал в гробу. Позднее его восхищали переводы Мики Голышева из Фолкнера, которые, как он говорил, обновили русский литературный язык.

Всех нас тогда тянуло в сторону Америки. Вышедшим из-под Сталина казалось, что всему плохому нашему противостоит все хорошее американское. Кому-то Америка нравилась через книги, кому-то через кино, кому-то через джаз. Нравилась красивыми одежками, которые мелькнули во время войны. Добропорядочностью, надежностью. Совершилось великое открытие, что Америка — это не то, что оплевал Чарли Чаплин и ему подобные, — серая, отвратительная страна, над которой не восходит солнце, но замечательная страна замечательных людей с потрясающей природой, — и все это есть в великой американской поэзии, лучше которой на Западе в этом веке не было. Появлялось ощущение второй родины — что есть запасная родина.

Другая страна интересов Иосифа в то время — Германия. Тут его влекла мрачная эстетика германизма. Когда однажды он попал на одесскую студию — пробовался на роль какого-то комсомольского босса, — он первым делом снялся не в лысом гриме, а в вермахтовском мундире, по-моему, с крестами. Помню, мы с ним ходили на «Нюрнбергский процесс» в кинотеатр «Украина» на «Багратионовской». Как он реагировал на большого американца Спенсера Трейси, на обожаемую немку Марлен Дитрих! Вернувшись на Малую Филевскую, мы крутили немецкие пластиночки — чехословацкие, лицензионные, с ходкими немецкими певцами. Иосифу страшно нрави-

лись тогдашние звезды — Петер Александер, Удо Юргенс. Была такая песня «Was ich nicht sagen kann, sagt mein Klavier», медлительная, и в ней было некое походное движение, так что эту лирическую могли бы петь солдаты. И мы слушали по нескольку раз и фантазировали, что вот немецкие танки идут из Парижа на Балканы, брать Югославию. И сидят на броне этакie рыцари вермахта, в пыли, поют эту песню. «Компарсита» (тогда на этикетках писали еще не «Кумпарсита») тоже была немецкого происхождения — мы с Иосифом слушали ее по многу раз и вспоминали бездарный геббельсовский фильм «Восстание в пустыне» — там она впервые предстала нашим детским ушам.

Иосиф говорил, что обожает джаз, что иностранцы нанесли ему джазовых пластинок (джазовых у меня не было); утверждал, что лучше всех в Ленинграде знает Моцарта — хотите верьте, хотите проверьте.

Я пытался показать Иосифу город, который он совершенно не знал. Оказалось, что смотреть он не способен. Грандиозная удача, можно сказать, прорыв: я сводил его в свой любимый Донской монастырь, который был благодатным тихим местом, за исключением неуместных могил старых большевиков над рвом с расстрелянными. А так — могилы патриарха Тихона, Чаадаева, пушкинская родня, вообще масса хороших людей. Стильные надгробья XVIII века. И еще чудесная скульптура Андреева — Христос. Иосифу там очень понравилось. На обратном пути из Донского долго шли пешком, в приподнятом настроении, рассуждали, строили планы — насчет нас самих, насчет того, что будет. Как удастся прожить, просуществовать в условиях максимальной социальной и материальной несвободы, что удастся написать, перевести, сделать — без утопий.

Иосиф зачастил в Москву, останавливался и у меня, и во множестве других мест, чаще всего у своего лучшего московского друга Мики Голышева.

В разных домах, при любом стечении публики много читал свое. Начинал он обычным своим голосом, отрубал строку от строки по живому мясу анжамбеманов, разо-

гревался от строки к строке, повышал голос до крика — куда исступленнее, чем видно по поздней кинохронике. И эта исступленность была как в маленькой комнате, так и в большой аудитории.

Читал предпосадочное (редко), сочиненное в ссылке, новое:

«Одна ворона (их была гурьба...),
«Пророчество»,
«Послание к стихам»,
«Одной поэтессе»,
«Письмо в бутылке» и т. д.

На моих глазах росла гениальная постройка «Горбунова и Горчакова». Не менее гениальной показалась не дописанная из-за посадки поэма «Снег, снег летит...». Наверно это и была та самая *запрещенная*, о которой он упоминал в письме. Иосиф показал ее очень не сразу, обтерханную, засаленную — блины пекли.

Я не жалел слов, когда нравилось. Когда не понравилось стихотворение «Прощайте, мадемуазель Вероника», раскритиковал как написанное на холостых оборотах, почти обидел. Вообще страшно много делал всяких замечаний, которые он практически не учитывал, но выслушивал без скандала.

Некоторые его стихи выдают один присест. А длинные огромные стихи писались — вот такой напор идет, за день он иссякнуть не может. На завтра рождаются какие-то новые видения того, что уже сделано, и — исправлений множество. Переделывал он свои стихи основательно, пристрастно переделывал. Печатали стихи на машинке — не любил писать от руки, потому что писал размашисто, — печатали через один интервал вровень с левым обрезом убористые-убористые строфы, так чтобы на страницу влезло как можно больше; огромное стихотворение в несколько столбцов, два, или даже три, помещалось на одной, двух, может быть, трех страницах. Никогда на обороте не писал — ему нужно было видеть текст, как картину. По картине и правил. Выразительно марал перьевой самопиской, разгонистым почерком. Яростно зачеркивал, вписывал, заполнял поля, — и мог бутерброд маслом вниз уронить на рукопись совершенно элементарно.

Иосиф страшно много ловил из воздуха. Он с жадностью хватал каждый новый item и старался его оприходовать, усвоить в стихах. Можно сказать, ничего не пропадало даром, все утилизировалось — с невероятной, ошеломляющей ловкостью.

В Москве Иосифа очень скоро повезли к Надежде Яковлевне Мандельштам. Он принял ее на ура — и саму, и книгу. Захлебываясь, с восторгом, с улыбкой: «самая веселая вдова в мире». Н.Я. говорила про Иосифа нежно: «Ося второй, Ося младший», что не мешало в другой раз сказать: «обыкновенный американский поэт».

И у Н.Я., и в других домах, куда ходил Иосиф, собиралось общество. Общество бывало разное. Когда про Иосифа говорилось «великий», кого-то это скандализовало. Даже многие из тех, кто потом пел Иосифу дифирамбы, тогда смотрели на него как баран на новые ворота.

Но и при нормальном понимании, и без понимания к нему относились с открытой душой. Нельзя сказать, что всюду он сразу попадал в центр внимания. Конечно, он много и замечательно говорил — хотя все-таки это был не тот блеск, какой в общении с глазу на глаз.

В откровенно дружественных домах Иосиф был сама ласковость. Когда ласкали его, он почти мурлыкал и мог сказануть такое, что прямо противоречило его обычным словам и утверждениям. По-моему, Иосиф чрезвычайно зависел от собеседника, иногда чуть ли не попадал в рабство — на десять минут, полчаса. Но вот уже, развивая тезис или отвечая, он вскидывал голову и в сослагательно-мечтательном наклонении выдавал что-нибудь безапелляционное. К тому же в характере у него был дидактизм, и самые невинные вещи он мог выговаривать четким вразумляющим тоном.

Иосифу не было свойственно обдумывать в разговоре следующий шаг — свой или ближнего. К счастью, он не находил удовольствия в том, чтобы по-бытовому перечить всему на свете. Но были вещи, которые он безоговорочно не принимал.

При мне Иосиф редко бывал спорщиком, врагом собеседника. Только однажды я видел, как он убивал. Столярова, секретарша Эренбурга, пригласила Иосифа и неле-

по соединила с литературоведом Пинским. Кончилось тем, что Пинский выкрикнул:

— Пастернак, Ахматова, Заболоцкий — я бы хотел, чтобы они умерли в 29 году!

Иосиф, выдержав хорошую театральную паузу, с нажимом спросил:

— А о чем они писали после 29 года?

Пинский сказал, что он так не может. Иосиф нравоучительно-назидательно:

— А я могу. После 29 года они писали о Боге. Вам *это* не нравится?

Иосиф не был профессиональным остряком, хотя часто бывал шутлив. Иной раз, брякнув что-нибудь замечательное, сам собой восхищался, удивлялся и повторял вполне наивно и трогательно. Хихикая, выдавал любимые присловья:

«Дело вот какого рода —
Бога нет, а есть природа».

«Мойше, не дергай папу за нос и вообще отойди от покойника!»

«Первая статья конституции Ганы: Каждый мужчина по природе полигамен».

Стихотворцем-импровизатором не был. С ходу при мне только раз выдал двестише. Принес Саше Пятигорскому фотографию Вивекананды (Иосиф успел в юности отдать какую-то дань индийскому), Пятигорский умилился, Иосиф перевернул фотографию и написал:

Господин Вивекананда,
специальность — пропаганда.

По-толстовски мог определить человека какой-то одной чертой, довести эту черту до общей характеристики, и потом, никогда не меняя, повторять, например, «душный еврей Н. Н.». Конечно, про тех, кого любил, говорил многослойнее.

Однажды мефистофельски похвастался, как пришел к Эткинду и сказал:

— Ефим Григорьевич, мне очень нужна моя книга [речь шла о первой, вышедшей в Америке. — А. С.], я знаю, у вас есть.

Эткинд достал книжку:

— Пожалуйста, пожалуйста.

— Понимаете, Ефим Григорьевич, мне за нее такие хорошие джинсы дают...

Иосиф был много взрослее своих лет. Но и неизжитого детства в нем был вагон. Кто-то ему подарил американские штампованные часы со Спиро Агню (My Hero is Spiro) на циферблате. Он их радостно носил и всем показывал. Увлеченно, подолгу мог обсуждать скульптурные достоинства маузера или парабеллума. Думаю, этого детства хватило до конца.

На лотке перед собой он никогда не держал самоуважение. Всегда отзывался о себе и о своих стихах скорее с юмором, говорил «стишки». Но, конечно, знал себе цену. Неприкосновенность себя и своих *стишков* старался оберегать от вторжений.

— Звонит Клячкин, говорит, приходи на концерт, я твоих «Пилигримов» петь буду. Я ему говорю: моли Бога, чтобы я не пришел, я тебе гитару на голову надену.

Когда по записи Фриды Вигдоровой в Италии и Израиле поставили пьесу:

— Какой-то юный тип там меня изображает — а мне каково?

Иосиф блюл себя, но с самого начала на протяжении лет общения со мной — и, конечно, не только со мной — бывал предельно откровенен. Не боялся говорить с подробностями о своих обидах, претензиях к кому-то, о своей удаче, о горе, оскорбленности, уязвленности. О своей действительно душераздирающей истории — с предысторией, с развитием шажок за шажком. До истории и помимо нее у него было огромное количество увлечений — он рассказывал, что в юности чувствовал себя, как он выражался, мономужчиной. Вот об увлечениях он мне практически ничего не рассказывал. В изображаемое время Иосиф был этаким жрецом морали. Помню, когда у него что-то произошло, вряд ли по его инициативе, с женой одного художника, он угрызался и явно раскаивался.

С одной стороны, Иосифа влекла литературная Москва, с другой — он не интересовался ни маститыми, ни эстрадными шестидесятниками, ни союзписательскими новичками, ни андерграундом. Не был читателем ни журнальной прозы, ни поэзии. Максимально официальный писатель, к которому заходил Иосиф, был Эренбург, «ребё». Наиболее продвинутые из союзписательских литераторов любопытствовали насчет Иосифа. У тогдашнего Слуцкого была широта и желание что-нибудь тебе дать. Иосифу он понравился: «Добрый Бора, Бора, Борух». Самойлов, который ненавидел неэпигонские стихи, стал целоваться с Иосифом: за Иосифом стояла Анна Андреевна. Евтушенко, обладая гиперразвитым чутьем, сразу зазвал его к себе и стал хвастаться живописью Юрия Васильева, потом — собой: «Что вы обо мне думаете?» Иосиф сказал: «По-моему, Женя, вы говно». Евтушенко в истерике грохнулся на пол: «Как можно при моей жене!» Это рассказ Иосифа.

Аксенов очень приметил Иосифа и взял на крючок, хотел благодетельствовать и позвал на редколлегию в «Юность». Иосиф на этой редколлегии, наслушавшись того советского кошмара, в котором жили писатели «Юности», просто лишился сознания. На Малой Филевской говорил, что присутствовал на шабаше ведьм. А на самом деле это был максимально возможный тогда либерализм.

Короткий обморок в «Юности» не изолированный случай. Бывало, что Иосиф вырубался, когда ему делалось морально невыносимо. Может, это предохранительный механизм, следствие голодных месяцев. Он был эвакуирован из Ленинграда зимой 1941—42, но что-то от блокады осталось. Это именно рескрипт Господа Бога, что спасся блокадный ребенок — он родился в мае 1940, а в сентябре 41 уже начался голод, так что обреченным побыть он успел. И при том, что он был физически сильный, хорошо развитый, с невероятным заводом, с прекрасными мускулами — казалось бы здоровяк, — какая-то органическая хрупкость в нем все время присутствовала. К здоровью он относился «кривая вывезет», курить не бросал — был неукротимым паровозом. При этом врачей слушался и, когда они приговаривали его

лечь в больницу, безропотно ложился и, надо думать, проделывал все, что ему предписывали. Он считал, что жить ему так и так немного. Что при благополучно сложившейся биографии, без особых вмешательств со стороны государства, проживет тридцать с чем-нибудь. Может быть, сакраментальные 37. И совершенно не случайно в 40 лет написал: «жизнь моя затянулась».

Я был некоторым образом организатором трех его поэзоконцертов в Москве. Один родственник наших пангских знакомых пригласил Иосифа выступить в каком-то вузе. Дело было в конце мая или в начале июня, очень неподходящее время, когда студенты заняты сессией, а не стихами, тем не менее парень позвонил, попросил. Иосиф, естественно, согласился, и мы поехали куда-то, кажется, в Лефортово, по-моему это был Бауманский. Мы пришли в общежитие, в довольно большую комнату, — может быть, это была не очень большая комната, сильно наполненная, или средняя комната средней заполненности — мне показалось, довольно многолюдно, человек пятьдесят — семьдесят. И те, кто пришли, слушали его замечательно. Перед этим квантумом студентов Иосиф выкладывался на полную катушку. Не думаю, что они его слушали с очень большим пониманием. Скорее — с огромным вниманием и с уважением, он для них был человек, который в жизни уже какую-то планку взял и в чем-то победу одержал, не только поэт, который свои полтора-два часа что-то вдалбливал. Когда дело кончилось, молодой человек, который Иосифа приглашал через меня, дал мне пук бумажек: «Вот ребята собрали, тут немного, правда». Иосиф был совершенно поражен, потому что никак не ожидал, что ему беспортошные студенты что-то соберут.

Второе выступление. Из ФБОНа мне позвонила необыкновенно милая дама: «Как бы устроить у нас — вы сами понимаете... мы хотим, но не разрешат... Может быть, вы нам поможете устроить вечер переводов: Андрей Сергеев и Иосиф Бродский». «Прекрасно, замечательно, сделайте такую афишу, я начну, прочту два перевода». Иосиф ничего не говорил, но — красноречивее всяких слов — готовился, старался хорошо выглядеть. Зал ФБОНа был битком, в проходах стояли. Иосиф воз-

двигся на трибуне, он был необыкновенно вдохновлен обширной аудиторией. Как Зевс Громовержец, метал перуны. Он был хорош, великолепен, все шло на ура, абсолютно на ура. Произошло редкостное взаимодействие обоюдного интереса. Аудитория была просто потрясена. Когда все кончилось, устроительница отозвала меня в профком и дала толстенный конверт с деньгами. В то время рубль был еще очень дорогой, а в конверте рублей 600—700, невероятно много. Иосиф почти растерялся. Насчет какого-то гонорара за выступления мысли не было, ни когда он шел к студентам, ни когда во ФБОН.

Третье выступление. В интеллигентнейшей и соответственно либеральнейшей секции союза писателей — переводческой — на регулярных средах давали выступать и оригинальным поэтам, которых не печатали. Помню, СМОГи всем составом читали стихи. Их встретили благожелательно, очень вежливо поблагодарили. Был вечер Сапгира, из-за наплыва публики пришлось переносить в помещение побольше, люди живо реагировали, аплодировали. Снова среда, читает Бродский. Присутствуют переводчики и не меньше интересантов. Может быть, Иосиф для учтивости и прочел пару переводов. Самое главное, что он начал с тем же напором, как и в два описанных раза. И споткнулся. Потому что встретил непонимание, отчуждение. Прошибить аудиторию не удалось. Кроме того здесь сидели живые литературные оппоненты — СМОГи. Губанов, когда потом было обсуждение, пытался убивать Бродского совсем по-советски, что было весьма неожиданно. Ну, и я Губанова заткнул по-мильтонски. Лианозовцы тоже Иосифа не любили — это еще очень мягко сказано — за то, что он другая эстетика, но столкновений не бывало.

Иосиф после выступления на среде говорить ничего не говорил. Был в очень мрачном настроении. Лицо выражало всегдашнее брезгливое отношение к союзу писателей.

От друзей Иосиф почти ничего не требовал. Даже не всегда искал в них понимающего читателя. Требовал, чтобы они его не предавали, не делали пакостей. Требовал верности, сам был очень верным другом. Единственная претензия — хотел, чтобы ближние принимали действительность лицом к лицу. Частое и осуждающее слово

его — «эскапизм». (В частности, мои занятия нумизматикой считал эскапизмом.) Сам стремился, как он однажды сказал, к стопроцентности или в другой раз другими словами — «прыгать выше головы».

Но и по-своему проявлял галантность, любил, расшаркиваясь, по собственной инициативе, оказывать друзьям знаки внимания. Раза два приезжал (прилетал?) из Питера на мои дни рождения.

В первый раз подарки были:

Плотный лист изрисованный и исписанный разноцветными словами; четыре фигурных стихотворения: две греческие вазы, куст, елочка + посылка:

Эту маленькую вазу
Вы полюбите не сразу.
Не приводит эта ваза
в состояние экстаза.
Но рисунок мой статичный
(отражая опыт личный)
на поверхности античной,
при содействии «столичной»,
может быть (о это жженье!)
приведет (на помощь, боги!)
в состояние броженья
Ваши мысли, Ваши ноги!

В углах вазапись: шестистолпный храм, крылатый гений с флейтой, красный кораблик.

И машинописный лист:

АНДРЕЮ СЕРГЕЕВУ В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Теперь так мало греков в Ленинграде,
что мы сломали греческую церковь,
дабы построить на свободном месте
концертный зал... —

и так далее до конца. И дата: 3.VI. 66

Иосиф в разговорах упоминал всегда одни и те же имена: Анна Андреевна — и Найман, Рейн, Бобышев, которые все трое существовали в разных контекстах. Других ленинградских имен при мне он не называл. И на встречу Нового 1971 в Ленинграде позвал только моего старинного приятеля Леню Черткова с женой и всем

известных Профферов. Он принципиально не стремился перезнакомить своих друзей. На этом фоне многозначительный в Иосифовой семиотике жест — когда он в ЦДЛ на каком-то просмотре свел меня с Голышевыми, Микой и Наташей, и сказал:

— Я вас хочу познакомить, это самое лучшее, что я могу сделать.

Сам я знакомил Иосифа с кем мог. Главная моя заслуга — интродукция Иосифа в Литву. Об этом написал Ромас Катилюс, написал как было, может, немножко улучшил.

Газета «Согласие», 11—17.06.1990

«...Летом 66-го разговор чаще чем раньше касался Бродского... Чуткий к психологическому состоянию друга, Андрей Сергеев от нас ему постоянно звонил. В какой-то момент, в ответ на реплику Иосифа, наверное, типа «конец света» или «полный завал», Андрей, повернувшись ко мне и моему брату Аудронису, зажав ладонью трубку, шепнул: «Иосифу плохо». Мы в один голос сказали — пусть едет к нам. Андрей передал эту мысль Иосифу, и Иосиф... на завтра же был в Вильнюсе. Вечером, сидя за круглым старомодным столом в нашей столовой, он уже читал нам стихи».

В Литве Иосиф получил прекрасную замечательную историческую страну, куда всегда можно съездить, и где тебя встретят с распростертыми объятьями.

Из поколения отцов, интеллеktуал 20—30-х годов Пятрас Юодялис, такой же безденежный, как Иосиф, вдоволь нагулялся с ним по осенней почти дармовой Паланге и обсудил все проблемы. Его приговор на его манер:

— Иосифас — это молодой Гете.

В израильском журнале стихи «Коньяк в бутылке цвета янтаря» были напечатаны под заголовком: «Пану Пятрасу Йодялису с любовью».

Помимо гостеприимного дома Катилюсов, бывал у Чепайтисов. Тумялис принес пачку отличной машинописи, в ней обнаружили чужие опусы. На одном из листов Иосиф черкнул: «Этих стихов я никогда не писал. К сему И. Бродский».

Самое существенное — он приобрел в Литве собрата-поэта и равноценного собеседника — Томаса Венцлову. Глобтроттер от рождения, Томас бывал всюду, в Ленинграде жил долгими месяцами, так что Иосиф получил почти регулярного напарника.

Весьма вскоре Ромас Катилюс перебрался из Вильнюса в Ленинград. Ромас с его трезвостью и высотой взгляда был всегда объективным судьей Иосифовых поступков. Потому что Иосиф, по своей прихотливости, хаотичности, может быть, невротичности, был способен выкинуть номер. Ну вот, допустим, Иосифа не печатали. В Ленинграде образуется какой-то альманах, то ли день поэзии, то ли еще что-то. Иосифа приглашают, только, конечно, надо бросить кость. В ссылке Иосиф написал послушное стихотворение «Народ», которое, кажется, было напечатано в местной районной многотиражке. В стихотворении нет ничего неприличного, но сказать, что это — стихотворение Иосифа, что оно выражает его существенные мысли и чувства — нет, это стихи на случай. И вот Иосиф, поддавшись, выбирает стихи некоторым образом нейтральные — хотя эстетически нейтральных стихов по отношению к ... — у него не было. Вот он берет какие-то стихи, более или менее проходимые, и предваряет их стихотворением «Народ». Ромас говорит, что не ему мараться, выходя впервые в печать, что он не должен этого делать. В редакции был, конечно, разговор, шум, но «Народ» не пошел. Только какие-то два стихотворения.

Рубеж 60—70-х — время восхитительных, может быть, даже превосходящих более ранние, стихов Иосифа:

- «Конец прекрасной эпохи»,
- «Люди и вещи нас...»,
- «Я всегда твердил, что судьба — игра»,
- «Холуй трясется, раб хохочет»,
- «Письма римскому другу»,
- «Сретенье» и др.

Зимой 1969—70 я провел два месяца в больнице. Иосиф прислал мне ободряющее письмо с вложением первой версии «Альберта Фролова» (которого я тут же заучил наизусть). Потом объявился сам — на сей раз мы занимались не его, а моими душевными перипетиями.

Когда Иосиф впервые пришел ко мне на Звездный, то потянул ноздрями, огляделся:

— Красиво.

В тот вечер мы с ним куда-то шли, и я надел новый твидовый пиджак. Он сразу:

— Андрей Яковлевич, вы хорошо одеты.

И когда я приехал в Ленинград на Новый 1971, опять сказал, что я хорошо одет. Ничего такого он прежде не говорил. Это был его способ выразить согласие с моей новой жизнью.

Форма, одежда — это было для него очень существенно. Ужасно гордился своей ирландской кепочкой. Советским гнушался.

В вечер встречи Нового года я впервые увидел Иосифовых родителей. Очень понравилось, что отец его, Александр Иванович, перед уходом переоблачившись из домашнего в парадное, из босняка превратился в сэра Роя Веленского.

Когда Иосиф впервые видел человека или попадал в новую среду, он вбирал все глазами, ноздрями, ушами, порами кожи. Причем делал это на удивление тактично — на удивление, потому что не был хорошо воспитанным юношей, как и все наши сверстники. В стихах он проявлял эту сенсуальность в такой степени, что меня, с задатками пуританина, она даже несколько приводила в смущение.

Но, как всякий выросший в эсэсэр, в коммуналке, Иосиф не был человеком изысканных, прихотливых, невероятных вкусов. Говорил: «Мой идеал — это кастрюля с котлетами, и чтобы руками из нее доставать одну за другой». Любил государственные пельмени в пачках по 50 копеек, мог пообедать в любой тошнеловке. Какой-нибудь особенный Шато-де-чего не производил впечатления. Было время, когда и я, и он пристрастились к джину. Может быть, ему нравился джин, а еще больше виски, по той же причине, по какой нравилось все американское.

Мне как-то представляется, что ему было несвойственно влезть в какой-нибудь сидячий или лежащий поезд Москва—Ленинград, он скорее гнал на аэродром. По го-

роду — только такси, когда он был один или когда инициатива была решительно у него в руках. Вместе — мы с ним отлично ездили в метро. В Ленинграде в первый же вечер он повез меня к Ромасу и Эле Катилюсам — на метро до Финляндского, и на электричке до Удельной, там мы прошлись на своих двоих.

В Ленинграде он мне показал родные палестины — улицу Пестеля, Пантелеймоновскую, храм с оградой из турецких пушек, показывал двор, где бестолковый Рандольф Черчилль орал, выкликая Исайю Берлина, который засиделся у Ахматовой. Потом — двор Третьего отделения — «Сквозь узенькую арочку вкатиться в казенный двор и поминай как звали» — эти свои строчки я зрительно зафиксировал на той прогулке. Иосиф торжественно подвел:

— Вот здесь и я сидел, здесь был суд.

Историей в то время Иосиф интересовался только современной, XX века, а политикой скорее гнушался. Слишком многое разумелось само собой и выносилось за скобки разговора. Политики как таковой в разговорах было, может быть, процента два. Единственную острую реакцию — активную радость — помню на той же встрече Нового 1971, когда объявили, что Кузнецова и самолетчиков помиловали: расстрел заменили сроками. Позже Иосиф сетовал, что в Ленинграде нельзя ни с кем встретиться — вместо «добрый день», говорят «кого посадили?»

Около того времени не раз назидательно:

— Андрей Яковлевич, запомните, если меня снова посадят, прошу, чтобы за меня никто не хлопотал. Так всем и говорите, такова моя воля, это мое персональное дело.

Тема выезда в широкий свет никогда не была темой для разговоров. Совершенно ясно, что каждому из нас хотелось поглядеть мир. Здешнее Иосиф все пересмотрел — в геологических партиях, на Дальнем Востоке, на Крайнем Севере, на Кавказе, в Прибалтике, в Средней Азии. Чего и кого только не насмотрелся в Москве, Ленинграде. Ленинградцы рассказывали, что, придя в гости, Иосиф сидел как на шиле и думал: вот сейчас бы сбежать туда,

там, может быть, лучше, — но и там повторялось то же самое.

Иосиф хотел не уехать, а ездить — уезжать и возвращаться. Весной 1968 предпринял нелепейшую попытку. Раз-два у меня на кухне как бы между прочим сказал, что надо сходить в ЦК и поговорить. Потом, что уже сходил — и сказал референту, что мог бы лучше других представлять страну за рубежом. Не дурак референт записал его на прием к Демичеву. И поход, и текст были настолько не похожи на Иосифа, что за ними виделась подсказка какого-нибудь либерального *прогрессиста*. В назначенный день на той же кухне я сказал Иосифу, что он никуда не пойдет. Иосиф был предельно нацелен на визит — но все-таки не пошел.

От руки. 22.VI. 1971

«...вообразите себе такое крово-стечение обстоятельств: из окон больницы, где я когда-то служил санитаром в морге и где сейчас нахожусь в качестве пациента, я смотрю на окна заведения «Кресты», где я тоже обретался некоторое время и где как раз тогда, в марте 1964, и началось то, результатом чего является мое здесь пребывание: обнаружилась какая-то ерунда с кровью. Но мало того; гранича (стеной) с «Сгоіх», больница, в довершение всего, другой стеной, а также своим фасадом соседствует с заводом «Арсенал», где я совершал свои первые шаги — фрезеровщика, сверловщика etc. Это было в 1956 году, 15 лет назад, и сейчас, видя, как в камерах загорается свет, я, имея, кажется, все основания не думать об имеющемся view как о перспективе, испытываю чувства совершенно не ностальгические, но ровно наоборот. Видимо, это и значит «вернуться на круги своя». Впрочем, пес с ним.

Вчера произошел забавный эпизод. Я повел пришедших навестить меня К[атилюсо]в к prison wall с целью сделать им небольшое show и молодой warder заорал на нас в том смысле, что сюда смотреть нельзя, что оштрафует etc, etc. Я хотел ему сказать, что я имею большее право, чем он, смотреть на этот ансамбль, что, в конце концов, это мой дом и проч., но Ханум [жена Ромаса Эля. — А. С.], ожидающая 2-го ребенка, увела нас с Р[омасом] прочь, а warder выкрикивал мне вслед, что я иду на обострение».

Может быть, действительно, Иосиф шел на обострение. Сознательно — или самым фактом своего существования. Власть не могла не оскорбляться всем, что он делал: работал, бездельничал, гулял, стоял, сидел за столом или лежал и спал.

Только что он был в Ереване, в первой машине ехал с академиком, во второй, открытой, везли охапки цветов. По возвращении в Ленинград сразу Большой дом:

— Убирайся, а то за себя не отвечаем!

Говорят, заранее посоветовались с популярным поэтом. И израильская виза наготове. И необходимость ехать на бессмысленную волокиту в Москву. Я видел в окно, как он шагал по нашему двору, — плечи высоко подняты, голова втянута — шагал чугушной походкой грузчика. Ночевать остался у нас на Звездном. Много говорил; напоследок, почему-то, не сразу начав от смеха, прочитал «Чучело перепелки». Не нажимая, сказал, что сделает изгнание своим персональным мифом.

На другой день прощались у Голышевых — посидели, как на дороге, — обожавшая Иосифа Микина мачеха Лидия Григорьевна (Мики и Наташи не было в Москве), Марина, Маша Слоним, мы... Иосиф просил не приезжать в Ленинград на проводы.

Дальнейшие отношения в письмах.

Открытка от руки. Вена.

20 июня 1972

«...Лечу вместе с Оденем в London на Poetry Festival... Оден — 10 баллов по пятибалльной системе; я трижды ездил к нему в Кирштеттен на lunch; великий дачник, но не эскапист, как был наш [Пастернак. — А. С.]. Считает порнографию реализмом, говорит, что принадлежит к сигаретно-алкогольной культуре, не к культуре drugs. В общем, удивительно похож на А[нну] А[ндреевну] — особенно, взглядом, хотя — слегка обалделым... Морда напоминает пейзаж. Завтра (если нас не хайджакнут) будем читать стихи в L[ondon]. Пустяк, но приятно. Жалко улетать из Европы...»

Машинка вроде бы прежняя. Анн Арбор.

12 декабря 1972.

«...Святофранциск шикарен, прекрасен, похож на Владивосток и Севастополь, расположен на семи, кажет-

ся, холмах, столь крутых, что будь я существом четвероногим, одна пара конечностей была бы короче другой. Подниматься и опускаться жутковато — пешком, а тем более: в автомобиле. Благодаря чему (не хотите ли) здесь и не бывает зимы. Потому что, если бы выпал снег, месту сему пришел бы .издец. По причине тяготения моих камрадов [Профферов. — А. С.] к люксовости, был поселен на надцатом этаже Марк Хопкинс Отеля, откуда открывается вид, за который действительно следует платить валютой. У меня в таких местах обычно возникает ощущение какого-то гротеска: я и это... Я только хочу сказать, что главный в семье Штраусов не Иоганн, не Рихард, не тем более, Леви, но Джозеф, соорудивший Голден Гейт. Сукой буду, есть на что посмотреть. И вообще я считаю, что город, желая быть великим, должен иметь: выход к океану, уникальный бридж или чорч и китайский город, по которому вечером идешь, как по электрическому винограднику, и запахи бросаются в лицо, как цветы...

В Мичиганске, естественно, зима, и это приятно вернуться в систему четырех времен года. Которая — система эта — есть единственная для меня реальность. Кроме, конечно, дня и ночи. Все остальное выглядит приблизительно и временно и не рождает (а может и не требует) серьезного респонс; так что чувства мои как бы дремлют. Что — мучительно. Имеет место только физическое уставание и физический же отдых. Я бы пожаловался еще, но на таком расстоянии Вашу жилетку не промочишь.

Жизнь моя проста, незамысловата. Два раза в неделю происходят семинары; по понедельникам и средам. В 10 утра для градуэйтс (дипломников) по-русски, в 4 часа пополудни — для андерградуэйтс, сиречь просто студентов (плюс профессора из разных депар[таментов] и всякие, кому интересно) по-английски. Этот второй, конечно, есть комбинация моей наглости и ихней терпимости, но чего-то толковое получается. Заставляю, например, независимо от возраста и пола, учить стишок на память. Ну и объясняю, как могу, что к чему. Думаю, что доходит. Вечером — возвращаюсь в свой пустой дом, пытаюсь чего-то сочинять. Иногда — да, чаще — нет. Готовлю, прибираюсь, смотрю телик; когда нервы позволя-

ют — читаю. Раза два в месяц — минимум — летаю куда-нибудь по оральным делам, как, например, во Фриско. Что до личной жизни, то хватит с меня личной жизни. Тут она была бы, по меньшей мере, эскапизмом, попыткой разгрузить душу, заслониться от — как бы поточнее — от ужаса. Что и желательно, и нежелательно. Я все-таки приучил себя к хандред перцентности...

Сообщаться же почти не с кем, кроме Карликов [Профферов. — А. С.]. Потому что слависты с течением времени, как хозяин на собаку, становятся похожи на свой сабджект, и я нахожусь среди тех, с кем это уже случилось. Очень аэропортовские люди, только женаты не на чернявых. Департамент — настоящий зоо; это даже приятно, что такая вэрайети имеется: тут тебе и мистики, и бодисатвы, и вегетарианцы, и гомосеки, и просто крейзи. Но у нас он еще хороший. Вот в Калифорнии — так там не зоо, а цирк со своим распорядителем, укротителем и клоунами. Насмотрелся я и скажу, что те, кто нам дома нравился, и есть лучшие.

Вы не поверите, Андрей, но мне скушно. Дело, конечно, в характере моем гнусном, и в языке несовершенном, конечно. Но знаете: все на свете можно вычислить. Человека, пейзаж, погоду, содержание книги. Скажу так: я увидел много нового, но не услышал и не прочел. Не знаю, где происходит самый процесс, но уровень в сообщающихся сосудах одинаковый...

Эмигре меня ненавидят, считают, что я их позорю. Любят поговорить о свободе: психология холуя, сбежавшего от хозяина: все время сапоги сняты...»

Та же машинка. Инисбофин.

21 июля 1973

«...Инисбофин на местной фене означает Остров Белой Коровы, — и хотя я ее еще не видел, — должен Вам сказать, что коровы и есть главные обитатели сей части суши, где кроме них, коров, есть еще овцы, зайцы, несколько кур, лошади, ослики, псы, кошки и 250 душ местного населения. Я — 251-й и, думаю, первый русский, к[ото]рый на остров этот когда-либо ступал...

В качестве 251-го я был перевезен сюда с «мейнленд» на небольшом баркасе по довольно бурному морю. Ду-

маю, что не испытывал ничего подобного прежде. Дело не только в баллах, но и в утлости судна, чей шкипер (по имени Падди, конечно) — 6 пудов веснушчатого мяса — всю дорогу крестился и орал на трех пьяных молодцов, норовивших вылезти из трюма на палубу, где сидел — а вернее — катался от борта к борту, хватаясь за что попало, я, а справа и слева громоздились жидкие трехэтажные вещи...

Я остановился в доме местного поэта, Тома Макинтайра (с к[ото]рым познакомился зимой в Мичиганске, где он преподавал айриш феню). Он живет тут со своим бабцом америк[анского] происхождения, тратя на еду 3 фунта в неделю. Это при том, что норм[альный] обед в китайском, (следоват[ельно] дешевом) ресторане в Лондоне будет 2—2.5 на нос. Выкручивается он просто: ловит рыбу — макрель — к[ото]рая и составляет 90 % их меню. Остальные 10% падают на картошку, свеклу, морковь, выращиваемую тут же, и на хлеб — того же т. е. домашнего происхождения и производства. Имя всему этому одно: нищета, но его никто не произносит. Ирландскому поэту (а Макинтайр — поэт хороший) заработать невозможно... Ср. членов СП... Главный вопрос в семье Макинтайров сейчас: купить или не купить (разумеется, в рассрочку) револьвер, чтоб стрелять диких кроликов, которых тут пруд пруди, ибо есть мясо здесь — хотя бы дважды в неделю — вопрос престижа. Топят торфом, леса нет никакого (винят англичан, к[ото]рые будто бы его свели в 17-м веке). Основное правило: если увидел кусок дерева, — подбери и отнеси домой. Потому что все время холодно, ветрено и сыро, но именно поэтому я сюда и приехал...

На чердаке, где я сижу сейчас и пишу все это при свече, пахнет рыбой; также ею пахнет в сенях и в спальне. Из того, что я видел, это не похоже ни на что. По своей бедности и некоторой отверженности это напоминает Норенское, но океан меняет все...

Смешно, что для Инисбофина Ирландия — мэйнленд, ибо для Ирландии мэйнленд — это Англия, для которой, в свою очередь, мэйнлендом является Европа. А он говорит «ни один человек не остров...».

От руки на двух открытках с видами Венеции.
31 декабря 1974

«Хотя бесчувственному телу
равно везде... Но ближе к делу:
я вновь в Венеции — Зараза! —
Вы тут воскликнете, Андрей.
И правильно: я тот еврей,
который побывал два раза
в Венеции. Что в веке данном
не удавалось и славянам.
Я прилетел в Париж, который
завешен как тяжелой шторой,
лефтистами и прочей мразью:
мир, точно Сартр, окосел.
Провел там сутки, в поезд сел
и, вверив взор однообразью
окна, как недруг власти царской,
направился в предел швейцарский...
Тристан Тзара, Джеймс Джойс, другие
творцы (и жертвы) ностальгии
здесь пели о грядущих бурях
простейший применяя трюк:
немецкого не зная, Цюрих
они считали за цурюк.
Я ж, *feeling strange*, в таком пейзаже
не вышел из вагона даже.
Состав бежал быстрее лани.
В семь вечера я был в Милане.
Гулял по местному собору.
В музее видел Пиету —
не знаменитую опору
туризма местного, не ту,
что снята в каждом повороте, —
но смертный крик Буонаротти.
Теперь передо мной гондолы.
Вода напоминает доллар
своей текучестью и цветом
бутылочным. Фасад дворца
приятней женского лица.
Вообще не надо быть поэтом,
чтоб камень сделался объятьям
приятнее, чем вещь под платьем.
Да убедят Вас эти строки,
что я преодолел пороки;
что сердце продолжает биться,
хоть вроде перестать пора;

что — факт, известный не вчера —
Ваш друг — плохой самоубийца;
что он, в пандан Царю Гороху,
свой срам не валит на эпоху.
Се, покидая черным ходом
текст, поздравляю с Новым годом
Вас, Вашу — *in italian* — *bell'у*.
Поздравив, падаю в кровать...
Хотя бесчувственному телу
равно повсюду истлевать,
лишенное родимой глины,
оно в аллювии долины
ломбардской гнить не прочь. Понеже
свой континент и черви те же.
Стравинский спит на Сан-Микеле,
сняв исторический берет.
Да что! Вблизи ли, вдалеке ли,
я Вашей памятью согрет.
Размах ее имперский чуя,
гашу в Венеции свечу я
и спать ложусь. Мне снится рыба,
плывущая по Волге, либо
по Миссисипи, сквозь века.
И рыба видит червяка,
изогнутого точно «веди».
Червяк ей говорит: «Миледи,
Вы голодны?» Не громче писка
фиш отвечает: «*Non carisco*».

[Внизу рисунок рыбы с сигаретой].

Машинка. Нортхэмптон.

21 мая 1975

«Из двух вещей, составляющих смысл жизни — работы и любви — выжила только работа. Не удивляйтесь, что не видите воплощений: я никому ничего не даю, потому что выяснилось, что некуда — внешне — спешить, а внутренне меня все равно никто не нагонит... Детки бывают славные, девки просто роскошные, но, переводя на язык родных осин выражение «заниматься любовью», я бы делал упор на «заниматься».

...В жизни моей происходит нечто цыганское или лучше сказать — агасферье. Сколько квартир я сменил, сколько гостиниц, мотелей, неприбранных постелей осталось за спиной за эти три года — страшно подумать... Это у меня-то, жильца и домоседа. Невольно возмечта-

ешь о четырех стенах, хотя бы и звукопроницаемых. Они, поди, уже превратились в трилобиты, эти вещи.

Мне хотелось бы как-то объяснить вам, на что тутошняя моя жизнь похожа. Чтоб каждый день с интеллектуалами я общался, так этого не скажу. Редко это бывает, в связи с неурожаем на оных. Неделю тому назад имел первый за три года разговор про Данте — так это было с Робертом Лоуэллом... Не говорит — бубнит, по звуку невразумительное, по смыслу — весьма дельное. Впечатление какой-то цифры, все время выходящей за скобки. Я не видел человека, держащегося на сигаретах и кофеи больше, чем я. Теперь это Лоуэлл. Хотя единственный человек, к[оторо]го я тут любил и люблю, мертв: Оден. Говорил ли я Вам, что я заказал — вернее, устроил огромную поминальную мессу, в НьюЙоркском Святом Джоне Недоделанном (Сейнт Джон оф Коламбия, в просторечии — Анфинишд), где Уилбер, Уоррен, Хект и др. читали его стишки вслух. Никому почему-то это в голову не пришло сделать. Читали ли Вы когда-нибудь Оден ен массе? Вот чего нашей Музе недостает, этого отвлечения от себя плюс диагноза происходящего, но без личного нажима.

Разговоры, которые веду, из числа тех, без которых всю жизнь обходился. При всем местном тонкачестве, отсутствует элемент приверженности — к идее, какой бы она ни была. Человек может всю жизнь драть средневековых аскетов без какого бы то ни было влияния на его личное поведение. Он вам прочтет про Савонаролу, а потом поедет играть в теннис. Это — правило, есть, конечно, исключения; но главное, чем я занимаюсь, в классе и вне, это изыскиванием способов, как взорвать те или иные мозги. Иногда получается, но бывает себе дороже...»

Новая машинка. Анн Арбор.

29 марта 1976

«... я все больше склоняюсь к мысли, что штатская и отечественная литературы (как, впрочем и самые языки) представляют собой не столько явления противоположных культур, сколько крайности той же самой цивилизации — цивилизации белых. Я всегда грешил этноцентризмом; теперь, при двух-трех фенях, мне и карты в руки, — имеющаяся разница есть разница между аналитическим и синтетическим отношением к действитель-

ности. Первое позволяет осуществлять над ней контроль, жертвуя зачастую доброй половиной феномена; второе развивает восприятие (до степеней Льва Николаевича), но за счет способности действовать. Разница — как между таксой и автомобилем, но общий знаменатель тот же; я, например...»

Машинка. Нью-Йорк.

10 июня 1977

«Переселился я в Сверхгород, и, как говорят пшеки, по раз первши со времен велкего скачка завелось у меня нечто вроде настоящего шелтера. Совершенно чарминг, как в кино показывают, или как то, чего мимо всю жизнь по улице вечером проходишь, а в окно видать книжные полочки, слышать Вольфганга Амадея, и еще баба ходит. Баба не ходит, и вряд ли вообще пойдет, кроме оккэйжнл или просто цветной домработницы, к[ото]рая пыль у других людей с китайских ваз вытирает, а тут один стакан в раковине моет, не потому что друг накануне вино приносил, а потому что из того же, из чего кофе утром пью, пью вечером белое. Все это в Гринич, само собой разумеется, Вилэдж, в трех кварталах от Гудзона; — стрит оканчивается пирсом, у к[оторо]го на приколе стоят два «либертоса», превращенные местным муниципалитетом в поваренную школу, чтоб удержат нек[ото]рое кол[ичес]тво молодых негритосов от поножовщины и рейпизма. В общем, посвящается Макаренке. Гудзон тут шириною похож на Волгу у Куйбышева, и на той стороне заместо Жигулей — Нью-Джерси, плоский штат, застроенный заправочными колонками. Довольно кошмарное зрелище, такая технологическая тундра. Но в профиль, то есть, с этой стороны, с Манхаттена, похоже на помесь второй грэс и ул. Горького, у Охотного ряда.

Впрочем, на пирс этот приходя, смотрю я в другую сторону: в сторону лагуны, образуемой слиянием Гудзона с Вост[очной] Рекой, и там маячит мадам Свобода, проплывают лайнеры, пролетают вертолеты, садится солнышко и т. д. Бессмысленно все это описывать, но как-то ведет когда пишешь восвояси, возникает комплекс фори-на, какового как-то совершенно нет. Просто, волею обстоятельств, я оказался человеком с четко разграниченным настоящим и прошлым: прошлое означено семьдесят вторым годом и сводится к Евразии».

Сюжет тех лет. Приятель принес мне чемодан рукопечатных стихов. Из всего понравился Лимонов, и я — учитывая цензора, — написал, что в Нью-Йорке бедствует молодой поэт Эдди Лемон. Post hoc, конечно ничего не значит, но спустя немного в «Континенте» появилась подборка Лимонова с внушительной врезкой Бродского.

От руки на открытках. Нью-Йорк.

26 декабря 1978

«O tempo, o tempo, o tempo» No case. Меня разрезали и зашили обратно. Грудь и др. части тела выглядят, как «москвичка» 50-х годов. Мог бы гулять голым, надев только лондонку. Операция называется «bypass», по-русски — «объезд» — знаете, когда грузовик лежит на боку. Грязь кругом, трактор надрывается и гаишник руками машет. Ничего, очухался, не курю вот уже 2 месяца кряду (к ляду)».

От руки на открытке. Нью-Йорк.

30 января 1986

«... есть такая часть (того) света — Инфарктика. Был там трижды (13 дек[абря] прошлого года во второй и 27 дек[абря], уже под ножом и ничего посему не соображая, в третий раз) — что Вам сказать за пейзаж? Много, конечно, белого; но еще больше красного и черного — совершенно, однако, вне-стендалевского пошиба. Если вернусь на круги своя — в чем далеко не каждый день уверен — придется завязать с рядом уланских привычек, включая одну фабрично-заводскую: курение. Придется завязать, иными словами, с пиш[ущей] машинкой и перейти на вставочку (к[ото]рую бычки и заменили). Хотя Мика всегда от руки писал. В общем, не знаю, на сколько меня хватит. Хорошо бы увидеться, как говорил Ваш сосед-Буддильник [Саша Пятигорский. — А. С.] еще в этом воплощении».

В ноябре 1988 я прилетел в Нью-Йорк. Не успел встречавший меня Томас Венцлова водворить меня на квартиру, как в дверях возник Иосиф:

— Андрей Яковлевич, в этой жизни мы уже увиделись, что же мы будем делать в следующей?

Иосиф ошарашил меня своим ужасным видом. Он был какой-то распухший, большой, белый, не бледный, а

белый. Только что прилетел, из Франции что ли. В общем, с самолета, усталый, физически никак не расположенный к заседанию с разговорами. И вот мы втроем немного поболтали вполне легкомысленно. Было, наверное, около одиннадцати, Иосиф сказал очень авторитетным тоном:

— Андрей Яковлевич, одиннадцать часов, пора спать, вы еще не знаете, что такое jet lag [реакция на быструю смену временных поясов после самолета. — А. С.]. Ложитесь, завтра утром мне в девять звоните. И приходите, *мы* вас ждем.

Имелся в виду Иосиф и его кот. Эту фразу я слышал много раз за те немногие дни, что был в Нью-Йорке. Пристрастие к кошкам у Иосифа, наверно, было наследственное: очень легко представить Александра Ивановича — как и Иосифа Александровича, наглаживающих на коленях кота. И гриничвилледжская квартирка была питерского пошиба, ибо сильно смахивала не на две, а на полторы комнаты. Он гордился, что в его полуподвал есть вход сверху с крылечка, другой вход из-под крылечка и третий — во двор, через терраску на полметра ниже земли. На терраске стояла какая-то дачная плетеная мебель. Кот выходил именно в этом направлении. Иосиф острил: «идеальная квартира для адюльтера».

Назавтра утром, когда я ему позвонил, он мне сказал, что лучше всего прогуляться пешком, — да и не по восьмому авеню, а, скажем, по шестому — приятнее, наряднее, столичнее. По-российски подробно объяснил, как к нему пройти, как найти. Дорога заняла не меньше двадцати минут. Я получал полное удовольствие от уютного Манхеттена. Поднялся на крылечко, как мне было сказано, позвонил. Иосиф сломя голову выскочил из своего полуподвала по довольно-таки крутой лестнице с резвостью польского улана и с неосмотрительностью такой же. Бурно, динамично провел меня в свою гостиную, усадил. Хотелось все посмотреть, и письменный стол с бюро и полочку с фотографиями матери и отца, а напротив — огромная рамка, в которую были вставлены многочисленные фотографии друзей — ну и тех, кого ему хотелось видеть. Под торшером — диван, на котором он сидел, так сказать, главное место в комнате. Справа от торшера стойка с полным Брокгаузом-Ефро-

ном, который создавал впечатление очень отечественной квартиры. В углу аккуратно, довольно дизайново лежала стопка книжек «Less than one» — Иосиф знал, что я не большой ценитель его прозы, так что книжка мне не досталась. Осмотревшись таким образом, я сел. И вот этим утром Иосиф был выспавшийся — красивый, молодой, здоровый, подтянутый, меловая белизна ушла, кожа активная, здоровая — все совершенно замечательно.

Какой бывает разговор при первой встрече — разбегающийся.

— Ну-с, Андрей Яковлевич, какие будут первые впечатления? Как долетели?

— На Эйр-Индия. Индусы изуродовали монументальные своды своего Боинга — все изрисовали мелкими красными фигурками. Несчастные, даже жалко их.

— Андрей Яковлевич, не жалеете. Вас никто не пожалеет.

Он не расспрашивал о нашей политической обстановке, он ее на удивление хорошо представлял. Про Америку — до выборов оставался, что ли, день — сказал:

— Знаете, я был в Белом доме. Буш — это последний патриций. Дальше будет все попроще.

В мои планы входила Метрополитен-Опера.

— Билеты, кажется, можно достать, если нет, позвоню Барышу, билеты будут.

Мне нужно было отметить в Пен-центре, сравнительно недалеко, в Сохо.

— Пойдемте, я вас провожу.

Погода восхитительная — теплая благодатная осень. Мы шли по умиротворенному Нью-Йорку, я наслаждался курортным воздухом — на авеню с машинами чудесный освежающий морской бриз. Прошли несколько кварталов, Иосиф остановился у хот-догщика, съел хот-дог, с чувством сказал:

— Вот моя основная еда здесь — как там пельмени.

И на завтра в девять я должен был непременно позвонить. Опять:

— Мы вас ждем.

Накануне мы с ним скакали с пятого на десятое, сейчас это было довольно размеренно обо всем.

Сначала о его тамошних стихах. Я предположил, что он перешел от пятистопника к разностопному дольнику

под влиянием всемирных пространств и масштабов; Иосиф не согласился. Что он набрал и высоты, и разнообразия средств. Что стал тщательно обрабатывать почти каждую строку. Самые лучшие стихи:

«Литовский ноктюрн»,
«На смерть друга»,
«Я хотел бы жить, Фортунатус...»,
«Ты забыла деревню, затерянную в болотах...»,
«Зимняя эклога»,
«Летняя эклога»,
«Я пил из этого фонтана...»

Он прибавил:

«Осенний крик ястреба».

Перешли на других.

В России Иосиф, кажется, как и все, отпадал от Набокова. Теперь отнесся о нем сдержанно, недружелюбно.

От Солженицына всегда отгораживался, видел в нем Николая Гавриловича. И сейчас:

— О Солже? Что о нем говорить? Он в «Теленке» о себе все написал. Сам, наверно, не подозревает, что. Жуть!

Иосиф ходил по комнате, проверял корешки, говорил, что вот в возрасте перечитывает, перечитал Анну Андреевну, очень многое понял. Прочитал Кузмина в какой-то раз и тоже что-то нашел. Не то чтобы потрясен, но все-таки.

Я, героически закончив к тому времени «Улисса» по-английски, сказал, что в совершенном восторге. На что Иосиф ответил — мне показалось, нью-йоркским мнением, — что «Улисс» сейчас не смотрится, что он проигрывает «Человеку без свойств». И спросил меня, кого я ценю из новой прозы.

— Саша Соколов «Между собакой и волком».

Иосиф это отмел: Саша Соколов — средний московско-ленинградский уровень, ничего особенного нет, а из новых лучше всех Кутзее. Я не согласился, что Саша Соколов — средний уровень; Кутзее читал «В ожидании варваров» — не понравилось, провинциальный Кафка. Иосиф говорил, что Моцарт сейчас звучит хуже, чем Гайдн, вот Гайдн, действительно... его симфонии...

Иосиф — улавливатель из воздуха. Когда-когда Оден пустил это про симфонии. Перед Америкой я слышал это от знакомого итальянца.

Иосиф говорил со мной с милой открытой душой, но за словами я ощущал такой опыт, какого у меня не было. Он сильно возмужал, вырос, за ним стояла Америка. Но и этот разговор — по-прежнему обмен мнений, никоим образом не спор.

Дошли до его нью-йоркских знакомых. Он говорил, что в очень хороших отношениях с Сьюзен Зонтаг и поэтами Марком Стрэндом и Энтони Хектом. Но в друзьях и «по корешам», что для Иосифа разные вещи и очень смысловозначимые — с Дерекотом Уолкоттом:

— Замечательный человек, вокруг него всегда что-то интересное происходит.

Жаловался, что «в Америке не с кем поговорить», что лучший собеседник на высокие темы был Роберт Лоуэлл, да и тот умер. Про Одена говорил с замиранием, с пиететом — и даже похвастался:

— Знаете, кто поставил мемориальную доску на его доме? Ваш покорный слуга!

Я спросил о Шеймасе Хини.

— Мой друг Шеймас Хини — явление чисто литературное.

В середине разговора вторгся почтальон с огромной сумкой корреспонденции, в основном рекламы и проч. Но и первый договор из Худлита. Иосиф посмотрел и дал мне на инспекцию. Я сказал, что, по-моему, все в порядке, только тираж 25 тысяч при тогдашнем дефиците и спросе надо бы удвоить. Прибавил, что у меня дома есть самиздат московских студентов — роскошно отксеренный том «Урании» — лучше оригинала.

И естественно возник вопрос, который не мог его не мучить и который я неоднократно задавал себе сам, и поэтому был готов отвечать: приезжать ему или не приезжать. О возвращении в Россию речи быть не могло, только — «приезжать или не приезжать». Я твердо высказал свое выношенное, не с налету мнение, что приезжать ему ни в коем случае нельзя, потому что его живым не выпустят. И друзья, и враги растерзают на куски, как менады. По удовлетворенной реакции было видно, что он хотел

услышать именно это, поддержку своего собственного нежелания ехать. Его душа была беспокойна, и я, как вероятно многие, внутренне помогал ему закрыть тему.

При расставании он сказал:

— Андрей Яковлевич, завтра я буду занят, мне надо кое-что сделать, но вы нам в 9 часов обязательно позвоните.

Я позвонил.

— Приходите к нам, мы вас ждем.

— Но вы же заняты.

— А, оставьте.

Пришел, смотрю — у него из пишущей машинки торчит лист, начало вступительной речи о приехавшем из России поэте.

— Я умею говорить вступления, день тратить на это не буду.

И слово в слово повторил сказанное в 1968:

— Посредственный человек, посредственный стихотворец.

(В тот же вечер перед аудиторией он назвал гостя не то светом в окне русской поэзии, не то зеницей ее ока. Помню разговор у окна на Звездном еще в 1972. Почему-то было актуально спросить Иосифа, как он относится к стихам одного из своих знакомых. Он ответил: «Поймите, меня настолько не интересуют чужие стихи, что уж лучше я скажу что-нибудь хорошее». И в этот же день в Нью-Йорке: «Все равно меня никто не обскачет».)

— Давайте лучше я вам стишки почитаю.

И он сидел и читал мне «Рождественскую звезду», потом еще несколько вещей, и «Путешествуя в Азии», а под конец — «Представление». Как в былые времена, я горячо сказал, что «Рождественская звезда» очень хорошее стихотворение, «Путешествуя в Азии» совершенно гениально, а «Представление» — ослепительное, и нельзя ли это все получить. Он сказал:

— Получить можно, кроме «Представления», там еще надо кое-что доделать.

Мне предстояло выступать на конференции, посвященной Аллену Гинсбергу. Иосиф оглядел меня:

— Брюки-то надо погладить. — [Вчера был ливень, я под него попал]. — Не беспокойтесь, у меня все есть.

В полуконюшечке рядом с кроватью стояли медицинский велосипед и гладильная доска типа чудо техники. Иосиф распрямил брюки под прессом — ему это явно доставляло удовольствие. Было видно, что у нас джентльмен сам всегда очень свежий и ходит в хорошо глаженных брюках.

Всюду во всем я видел и узнавал Иосифа. Америка его преобразовала. Он превратился в нью-йоркского нобиля. Появилась вдумчивая предупредительность англосакса. Он научился формальному искусству общения, сгладились углы, неровности и шероховатости. Но и все лучшее из прежнего было на месте.

На обратном пути я три дня жил в Нью-Йорке у Аллена Гинсберга. И снова к Иосифу заходил, тем более что с 12-ой Восточной улицы до Иосифовой Мортон-стрит прогулка тоже не лишена. На эти дни пришелся усыпительный День Благодарения, когда все закрыто и деться некуда, а вечером обязательно идти в гости и есть индейку. Иосиф повел меня к своим друзьям-американцам:

— Они замечательные люди. Только, Андрей Яковлевич, это не Россия — будет скучно.

И вот уже мы говорили, что завтра я улетаю, кончилась американская гулянка. Что замечательно съездил, все хорошо, пора домой, сколько примерно стоит такси.

— Об этом речи быть не может, вас повезу я.

— Иосиф, вы с ума сошли, день губить. Ни в коем случае.

— Никаких разговоров. Давайте адрес Гинсберга.

Гинсберг прекрасно знал, кто такой Иосиф. Мы с ним договорились, зная Иосифа, что будем его оттеснять от вещей: вещей пустяк, но все-таки четыре этажа вниз без лифта. Так оно и получилось. Иосиф к моим сумкам порывался отчаянно...

Иосиф принес выдирку из «Континента», где была напечатана подборка, включавшая «Путешествуя в Азии» и многие другие стихи. Гинсберг, который всегда старается со всеми поделиться, провел по своим комнатам, говорит:

— Мы ваши стихи можем сейчас напечатать — хотите, маленькой книжечкой?

Иосиф загорелся: такая игрушка! Гинсберг подошел к огромному японскому ксероксу, взял стихи и сделал ксерокс для меня — нормальный, а для Иосифа — размером с записную книжечку. Иосиф тут же загнул поля, со всем тщанием, с любовью, сложил и спрятал в карман. Потом, когда Гинсберг был чем-то занят по делам выхода, сказал, вспомнив Слуцкого:

— На Боруха похож, правда? Есть в нем что-то такое...

Мы спустились вниз к машине, и тут, из соседней квартиры, увидев нас в окно, в сильно похолодавший Нью-Йорк срочно сбежал ближайший друг Гинсберга Питер Орловский, растерянный, в одной пижаме, у него на руке была почему-то перчатка, и он стал протирать ветровое стекло у Иосифова мерседеса, а Аллен Гинсберг протоколировал каждый шаг мировой поэзии, вращавшейся вокруг него, и своим аппаратом профессионально снял меня с Иосифом и Питером Орловским. Орловский вышел нерезко, я — замерзшей куклой, а Иосиф — парит, не касаясь ногами асфальта.

И вот мы с Иосифом после некоторого драйва приехали в аэропорт. Было видно, что в аэропорт он приезжает в N+первый раз. Мы оказались в очереди — советские люди и тут образовали очередь и устроили советскую власть. Я говорю:

— Иосиф, тут не на час. Езжайте-ка домой.

— Нет, я постою.

В помещении аэропорта Иосиф курил одну за другой, выплевывая фильтры. Я стоял в очереди взвешивать багаж, мы разговаривали, хотя какие разговоры в последнюю минуту. Вещи сданы, мы идем к контролю, и перед выходом в накопитель, где собираются пассажиры, Иосиф говорит:

— Что, Андрей Яковлевич, в рабство возвращаетесь?

Я сказал «Да» — время было горбачевское, и я себя свободным не чувствовал.

Иосиф оказался за стеклом, несколько выше, стоял, курил, ждал, смотрел на меня, я смотрел на него, он стоял, смотрел на меня интенсивно, и я подумал, что он здесь физически, а мыслями уже где-то.

Больше в Америке я не был. Хотел Иосифу что-то сказать, прибежал к почте — как и раньше. Только узнав о его женитьбе и потом о рождении дочери, на радостях звонил. Иосиф позванивал, разговоры его начинались так, как будто продолжались со вчерашнего дня — о его путешествиях, передвижениях, самочувствии, кто что читает и т. д.

С днем рожденья он почему-то поздравлял меня на день позже, в годовщину своего отъезда.

В 1994, прочитав в «Новом мире» статью о группе Лени Черткова, посмеиваясь и с маленьким вызовом:

— А у Лени стихи лучше всех.

(Я отлично помнил, как в московском метро он сказал: «Красовицкому я многим обязан».)

Не помню, в каком году он несомненно огорчился, что я по-прежнему постоянно подчитываю Пастернака.

В августе 1995:

— Я тут о Фросте сочиняю, хочу все поставить на места. Поглядите, на каком издании у вас печать какого концлагеря.

В декабре 1995 бравурно и почти жалобно:

— Трудно стало одолеть расстояние этак с длину фасада...